

Поездка в архив

Вагоноремонтный завод осеняет пейзаж.
По пыльной дороге проносятся с грохотом фуры.
Весеннее солнце сияет и брызжет в глаза,
Иду и мурлычу знакомый мотив Азнавура.

Дорога длинна. По обочине пыльной кусты,
Успевшие выбросить первую клейкую зелень,
Стада одуванчиков в нимбах горят золотых
И буйствует чертополох на чужом новоселье.

В архив исторический путь мой нелегкий лежит.
Грозит департамент казенный кирпичным оскалом:
Я там потеряла живые осколки души
И в хлам износила подошвы, пока их искала.

Две хлипких бумажки нужны мне, свидетельства два:
О брачном союзе одно, о рождение другое.
Чернильными перьями вписаны были слова,
И клякса дрожала под чьей-то небрежной рукою.

С девичьей фамилией бабушки, с отчеством и
С клеймом «из мещан», опечатавшим судьбы потомков,
Живем и себя ощущаем в отчизне людьми,
Готовыми вспыхнуть, закинуть за спины котомки

И вновь по этапу, как некогда те старики,
Пустьится затылок в затылок под звездную млечность...
...Оплачено все, и шаги архивистки легки:
Бумажки в руках как бессрочные пропуски в вечность.



Конец февраля. На снегу ослепительно солнце.
Разреженный воздух. Морозный шипит кислород.
Резвятся собаки на вздутом дугой горизонте.
Гуляет народ.
Ожившей гравюрою средневековых голландцев
Прикинулся белый во льду Александровский сад.
А небо сияет лазорево-розовым глянецом
И режет глаза.
И так на душе беспечально, беспечно, беззлобно,
Так хочется петь, улюлюкать, валяться в снегу...
— Что нынче за день?! Не из вечности выпал ли? Словно
Мир другу принес и грехов отпущенье врагу.



Плыла по Мойке льдина,
Стоял на льдине стул.
Апрельская пучина
Гремела. Ветер дул.

Бесцветный, неказистый, —
Доска и три ноги, —
С упорством коммуниста
Он стыл на льду реки.

Покачивалась льдина
И таяли борта.
Несла ее пучина
Под черный свод моста.

И дальше по каналу,
Держа победно грудь,
Ровесник коммуналок,
Плыл стул в последний путь.

Качался, веку равен,
На трех ногах кривых
Свидетель биографий
И мертвых, и живых.

Стихи, написанные в больнице

Палата спит. Ноябрь. Шесть утра.
Ночные лампы светят в коридоре.
Спят те, что были в контрах, были в ссоре
Еще вчера. Тишайшая пора...

И все равны. И бог един в беде
Для молодых, для старых и для нищих, —
Он небо осветит и явит пищу —
Тарелку манной каши на воде.

Клокочут кроны высоченных лип,
В раскрытое окно мне тянут руки;
Рыдает и трещит матрас упругий,
К клеенке зад исколотый прилип.

Но оторви его от лежака,
Прошаркай к белокафельной уборной, —
Оттуда вид божественный, бесспорно,
На крыши, купола и облака:

Как на ладони старый Петербург
С глубокими колодцами — дворами,
С антенным лесом, с дымными парами,
Расцветенный зарею под гламур,

Под то авангардистское панно
Из дорогих коллекций новых профи,
Где штрих знакомый, абрис или профиль
Пьянят владельца крепче, чем вино.

И этот мир кирпично-жестяной,
Он там, внизу, своею жизнью частной
Живет не то, чтоб жизнью несчастной,
Скорее отрешенною, иной.

Там день за год идет, а год — за век,
И в окнах там одни и те же лица;
Там черные летают в небе птицы
И Новый совершается Завет.



Во мне весь мир: вчерашний день и тот,
Который не рожден еще, но зреет,
И ласточки его вдоль речки реют
И медленный приветствуют восход.

Во мне весь мир: все звуки, голоса,
И плеск воды из-под тяжелых весел,
И шорох листьев, сохшихся под осень,
И гул ветров, качающих леса.

Во мне весь мир: вся память бытия
От самой первой живородной клетки
До хруста белой косточки скелетной,
Которыми усеяна земля.

Во мне весь мир: вся музыка и мощь,
От вздохов гор до буйства океанов.
Покуда я дышать не перестану, —
Во мне весь мир, — и век, и день, и ночь.

Колыбельная

Ты спи. Ты спи. А я тебе спою,
Как дремлют птицы на ветвях в саду,
Как засыпают рыбы на ходу
Под мерный выдох «баюшки-баю».

Пусть улицы разноголосый рев
Замрет, коснувшись нашего окна,
Пусть комнату охватит тишина
И шелест проплывающих миров.

Пускай тебе приснится, как река
Качает твоей лодки колыбель
И побережья бережно апрель
Касается — и плаваются снега.

А я спою. А я тебе спою,
Как пела мама песню мне свою, —
Тихонько под блокадный метроном,
Как бабушка под гродненский погром,
Прабабушка, качаясь, чуть жива, —
Шептала мне на идише слова.

Комаровское кладбище

Комаровское кладбище. Сосны и ели.
Слева спят христиане, а справа — евреи.
Там — кухарки, бойцы, деревенская челядь.
Тут — поэты, ученые и книгочеи.

Желобок государственной вьется границей,
В нем для тех и для этих найдется водицы.
Облетает листва на гранитные плиты
К тем, кто памятен, и к безнадежно забытым.

К тем, что слева, приходит народец попроче,
Там колотят, копают отцу или теще;
К тем, что справа, приходят коллеги по духу,
Там стоят, там молчат, там не знают друг друга.

Век живут, век соседствуют эти державы;
Голоса поездов, скрип калиточки ржавой,
Звуки пышных процессий над ними витают.
Книгочеи и прачки травой прорастают.



Старуха с собакой гуляли в саду
По талым дорожкам, по хрусткому льду.
Собака в попонке, старуха с клюкой —
Они ковыляли одна за другой.

Сменялись сезоны, сменялись года;
Трава умирала, росли города.
Но снова брели и садились в тиши
Две старые очень, родные души.

Там Адмиралтейский хранил их фасад.
И ветры, ярясь, отступали назад;
Скульптуры, деревья и старый фонтан
Внимали им с тайным сочувствием там.

И их разговор уносился легко
В иные миры, далеко-далеко.
Простор был небесный распахнут и тих:
Пригнувшись, вселенная слушала их.

Бабушка

А дух в закопченный взлетал потолок,
Стелился по всей коммунальной квартире, —
Сосед-алкоголик от запахов глож,
Гэбэшница млела беззвучно в сортире.
И чуткие ноздри щипал аромат
Гвоздики, душистого перца и лавра,
И все это вместе сводило с ума,
С парами мясными мешаяся плавно.

Горячее блюдо вносилось на стол
Под комнатный свод с потолочною лепкой,
И бабушка к нам выходила потом
Богиней седеющей великолепной.
А праздник семейный — он больше, чем пир,
Скорее не пир он, а пиршество духа
И повод отторгнуть уродливый мир
Со всем его хамством и запахом тухлым.
...Как белая пена, на ней воротник,
И синим сверкает стеклянная брошка...
— Помедли же, бабушка, стой, не гони,
И так без тебя одиноко и тошно.
Еще положи мне своих голубцов
Бордовых и пышных с томатной подливой,
Чтоб мне ни бандитом не стать, ни лжецом,
Чтоб мне до конца оставаться счастливым.

Вспоминая Шолом-Алейхема

Впадаю ли в детство, а может, старею,
Но детскую книжку читаю запоем:
Рассказы написаны старым евреем
Пять тысячелетий спустя после Ноя.

В местечке Касриловке, богом забытом,
В грязи утопали телеги и кони,
Был воздух навозом и водкой пропитан,
Детей содержали в узде и законе.

Там вижу я меднобородого ребе,
Сверкая очками, он Тору читает.
В руке его розги. И праведный трепет
В глазах у мальчишек как ком нарастает;

Там слышу библейских имен переключку:
Смешных, несурзных, раскатистых, грозных.
Там серость и лень осуждают публично
И розгами порят воров принародно.

Там в ночь на субботу затеплятся свечи,
И в небо дымками взвывают молитвы,
И выплывут толстые халы из печек
И лягут ломтями на блюдах солидных.

И сладостный дух поплывет меж домами,
Поднимется в небо, затопит округу,
И дети, заляпав одежду руками,
В тепле засопят, привалившись друг к другу.

И даже коровы, и лошади даже, —
И те уважают святую субботу:
Они получают похлебку из каши
И дрыхнут взахлеб, позабыв про работу.

Ах, эти кудахтанья, гогот и скрежет,
И говор певучий, и крики, и ругань, —
Я слышу их с детства все реже и реже, —
Им к нам не пробиться из дальнего круга.



Все моря не увидеть, всех книг не успеть прочитать.
Путешествие в кухню полжизни из комнаты длится.
Так улитке желанного берега не увидеть
С деревенского тракта, где пыль, оседая, клубится.

Я, увы, не улитка, но тоже несчастная тварь,
И часы мои также неспешно свой ритм отбивают.
Ах, не григорианский в душе у меня календарь:
День уносится в прошлое, я за ним не попеваю.

Не постичь мироздания, тайных его языков,
Алгоритмов развития и угасания жизни.
Птицей взмыть бы, к морям улететь далеко-далеко...
Но куда до пернатых: у них неземная харизма.



*Не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя,
спроси, что ты можешь сделать для своей страны.*

Джон Фицджеральд Кеннеди

Что сделала я для своей страны?
Месила грязь по зимним тротуарам,
Не подавала спившимся и старым
И за собой не ведала вины.

Молиться не ходила в божий храм, —
Ни в православный и ни в иудейский, —
И, нрав свой не обуздывая дерзкий,
Ни Библию не чтитала, ни Коран.

С лопатой не корячилась в земле.
Деревья не сажала и кустарник,

С отбросами не шлепала в свинарник,
Корову не доила. В феврале

Зверям лесным не рассыпала корм,
Собак бесхозных в дом не заводила,
Проселочными тропами бродила,
К реке брела, на луг, на косогор

Без цели, как блаженная, вокруг
Глядела жадно, все запоминала,
И все казалось — виденного мало
Из первых мне подаренное рук.

Что сделала я для своей страны?
Попользовав, я ей вернула душу.
Надтреснут стал мой голос и простужен, —
Душа цела. И нету ей цены.

